



БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО

— ● —

КОНСТАНТИН ТРЕНИН

Константин Тренин

Больше, чем было

<https://litres.ru/74506858>

SelfPub; 2026

Аннотация

Три тысячи спящих. Один проснувшийся. И чужое небо за стеклом.

Пилот Илья Северов открывает глаза не под мягкий сигнал планового пробуждения, а под хрип аварийной сирены. Корабль-ковчег «Аврора», уносивший последних людей с мёртвой Земли, обесточен, навигация мертва, а звёзд за иллюминатором нет ни на одной карте. Три тысячи колонистов так и не проснулись. Бортовой ИИ отвечает с провалами и на вопрос «где мы?» может сказать только: «Я не знаю».

Топлива — на один прыжок вслепую. Кислорода — на семь дней. И один прибор показывает то, чего не может быть: пространство впереди кончается.

Отсекая гипотезы, Илья возвращается памятью к реке с отцом, в класс, где сверхразум объявил, что Солнцу осталось пять лет, к стеклу, за которым жена и дочь машут в последний раз. Спасения нет. Есть несколько дней — и вопрос, что остаётся от человека, когда сгорает всё остальное.

Тихая, точная фантастика о границе всего сущего и о том, что даже конец может сделать мир немного больше, чем он был.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	13
Глава 3	21
Глава 4	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Константин Тренин

Больше, чем было

Глава 1

Чужое небо

Боль пришла раньше сознания.

Она началась где-то в груди — тупая, распирающая, будто кто-то залил лёгкие ледяной водой и забыл выпустить обратно. Потом — в суставах, в каждом, по очереди, снизу вверх: пальцы ног, колени, бёдра, позвоночник, будто тело вспоминало, что оно тело, и делало это неохотно, со скрипом, с протестом.

Илья Северов не открыл глаза. Он не мог. Веки были чужими — тяжёлыми, слипшимися, как будто их приклеили. Где-то далеко, на самом краю того, что ещё оставалось от его слуха, пищал зуммер. Не тот мягкий, нарастающий сигнал, под который он просыпался семь раз до этого, — растянутая на двадцать минут мелодия, тепло, разливающееся по капсуле, голос «Вектора», спокойный и почти отеческий: «Доброе утро, командир. Плановое пробуждение. Не торопитесь». Этот звук был другим. Отрывистым. Механическим. Задышающимся — будто сама сигнализация умира-

ла вместе с батареей, которая её питала.

Он закашлялся — и это чуть не убило его. Грудь свело судорогой, тело выгнулось, из горла вырвался хрип, а следом — рвота, кислая, скудная, потому что в желудке почти ничего не было. Он захлебнулся, повернул голову — движение отозвалось вспышкой боли в шее — и просто позволил этому случиться, лёжа щекой в собственной блевотине, потому что не было сил на стыд.

Крышка капсулы была приоткрыта на треть — ровно настолько, чтобы автоматика посчитала процедуру вскрытия завершённой. Дальше она не разошлась. Не хватило энергии. Илья толкнул её ладонью — рука не слушалась, пальцы разгибались с трудом, — и крышка поддалась со скрежетом, откинулась, ударилась о соседнюю панель.

Свет. Не яркий — тусклый, красный, аварийный, но после черноты капсулы он резанул по глазам. Илья зажмурился, потом медленно, по миллиметру, приоткрыл веки снова.

Первое, что он понял: холодно. Не «прохладно» — по-настоящему холодно, тем сырым холодом, что въедается под кожу и не отпускает. Дыхание вырывалось изо рта белым паром. Он попытался вспомнить, сколько градусов должно быть в отсеке пробуждения. Восемнадцать. Двадцать. Сейчас — явно меньше. Пять? Может, меньше пяти.

Он попробовал сесть — и упал обратно, тело отказалось держать вес головы. Мышцы не атрофировались полностью — крио-сон предусматривал электростимуляцию, под-

держивающую минимальный тонус, — но медикаментозной поддержки, смягчавшей предыдущие семь пробуждений, на этот раз не было, и разница чувствовалась сразу: то, что должно было занять двадцать минут мягкого перехода, тело пыталось выполнить за секунды — и проигрывало.

Второй раз он сел медленнее. Держась за край капсулы, свесил ноги — они не чувствовались, будто принадлежали кому-то другому, — и соскользнул на пол. Ноги подкосились сразу. Он упал на четвереньки, и почему-то именно это — прикосновение ладоней к холодному металлическому полу, к рифлёной поверхности, которую он помнил под ботинками, а не под голой кожей, — заставило его наконец открыть глаза по-настоящему.

Он был на четвереньках в отсеке пробуждения. Один.

Тишина.

Не та тишина, которую он знал. При прошлых пробуждениях всегда был звук — ровный, почти неощутимый гул системы жизнеобеспечения, далёкий рокот реактора где-то в недрах корабля, шёпот вентиляции, который через минуту переставали замечать, потому что он был частью корабля так же, как биение сердца — частью тела. Сейчас не было ничего. Совсем ничего. Только — раз в несколько секунд — тихий металлический щелчок откуда-то сверху, из переборки. Звук остывающего металла. Так тикают перекрытия старого дома зимней ночью: дом при этом не живёт, он замерзает.

Илья попытался позвать «Вектора». Голос вышел сиплым

карканьем, почти неразличимым:

— Вектор. Статус.

Тишина.

— Вектор, ответь.

Ничего. Ни щелчка активации, ни привычного лёгкого шипения перед синтезированным голосом. Только красный полумрак и щелчки остывающего корпуса.

Он пополз.

Коридор от отсека пробуждения до мостика был коротким — сорок метров, он мог пройти его за полминуты в обычном состоянии. Сейчас на это ушло, наверное, минут двадцать. Он полз на четвереньках первую половину пути, потом заставил себя встать, держась за поручень вдоль стены — поручень, о существовании которого он раньше не задумывался, потому что никогда им не пользовался, — и пошёл, шатаясь, как человек, впервые в жизни вставший на протезы.

Аварийное освещение горело через одну панель. Красные полосы вдоль пола, тусклые, экономные, будто корабль сам решал, сколько света он может себе позволить. Двери между отсеками не открывались автоматически — Илье пришлось находить ручные аварийные рычаги, встроенные в переборку рядом с каждым люком, и налегать на них всем весом, которого у него почти не было. Первый рычаг поддался только с третьей попытки, и когда он наконец повернулся с сухим скрежетом несмазанного металла, Илья на несколько секунд прислонился лбом к холодной обшивке — просто чтобы от-

дышаться, просто чтобы тело перестало дрожать.

На мостик он не вошёл, а, скорее, ввалился.

Здесь было чуть светлее — аварийные панели над пультом навигации ещё мигали, слабо, вполнакала, но мигали. Илья добрался до кресла пилота — своего кресла, в котором он провёл семь коротких пробуждений за сорок лет полёта, — и упал в него, а не сел.

Несколько минут он просто дышал. Смотрел на приборную панель перед собой — на ряды индикаторов, часть которых была мертва, часть мигала предупреждающим жёлтым, ни одного зелёного. Попробовал вызвать основной дисплей состояния корабля.

Экран моргнул, показал полосу загрузки, замер на сорока процентах, моргнул снова и погас.

— Ну же, — прошептал Илья, и звук собственного голоса в мёртвой тишине мостика показался ему неуместным, слишком громким, будто он нарушил какое-то негласное правило. Он попробовал снова. На этот раз экран отозвался текстом — не интерфейсом, а голым системным логом, зелёными буквами на чёрном фоне, как в самых первых компьютерах, о которых он читал в детстве.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЁННЫЙ ЦИКЛ: ПРЫЖОК 8 (НАЧАЛО)

СТАТУС: АВАРИЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ

ЖУРНАЛ ПОВРЕЖДЁН [] ЧАСТИЧНОЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ: [ДААННЫЕ ПОВРЕЖДЕННЫ]

Он смотрел на эти строки долго. Восьмой прыжок, завершающий. За ним — торможение к системе Кеплер-442, пять лет дрейфа и восьмое, штатное пробуждение, после которого до новой планеты оставалось бы совсем немного.

«Аварийное завершение».

Он не помнил аварии. Не помнил ничего после того, как лёг в капсулу перед восьмым прыжком — обычная процедура, обычное лёгкое головокружение перед погружением, а дальше — темнота, из которой он только что выполз. Между этими двумя точками — неизвестно сколько времени. Год? Пять? Больше?

Таймер пробуждения был настроен жёстко: пять лет после начала цикла, на отдельном резервном контуре, который не зависел ни от чего, кроме собственной изолированной батареи. Именно поэтому он вообще проснулся — таймер не знал, что случилось с кораблём, он просто отсчитывал время и в нужный момент подал сигнал на аварийное вскрытие капсулы, невзирая на то, есть ли энергия для нормального пробуждения или нет.

Значит, прошло пять лет — если таймер не сбился вместе со всем остальным. Проверить это было нечем.

Илья заставил себя подняться и подойти к обзорному иллюминатору мостика — толстому, многослойному стеклу, за

которым при прошлых пробуждениях он всегда видел то, что ожидал увидеть. Небо после каждого прыжка менялось, но предсказуемо: навигаторы ещё на Земле рассчитали, как оно будет выглядеть на каждом отрезке пути, и Илья сверялся с этими картами при каждом пробуждении.

Он посмотрел.

Звёзды были. Много звёзд — россыпь, туман далёких скоплений, обычная на первый взгляд картина глубокого космоса.

Но она была чужой.

Илья не был астрономом, но за сорок лет полёта — за все семь пробуждений — он выучил основные ориентиры маршрута наизусть, как выучивают дорогу домой: вот здесь должно быть скопление, похожее на изогнутый ковш, вот здесь — яркая двойная звезда, которую они с Еленой ещё на тренировках в шутку прозвали «глазами корабля», потому что на всех картах маршрута она светила прямо по курсу. Он искал их взглядом, скользя по черноте за стеклом, — и не находил. Ни одного знакомого рисунка. Ни одного ориентира. Только чужие, безымянные скопления света, разбросанные без всякой связи с тем, что он знал.

Он стоял так долго. Не отрываясь. Как будто, если смотреть достаточно упорно, знакомые звёзды проступят сквозь чужие, как проступает старый рисунок сквозь свежую побелку.

Они не проступали.

Он не знал, где находится. Мысль была простой, но в первый момент он не смог её принять. Не «мы сбились с курса» и не «мы немного отклонились» — с этим можно было бы работать, это исправлялось поправкой к траектории. Здесь поправлять было не от чего. Небо за стеклом не совпадало ни с одним участком карты, которую он знал.

Он опустил обратно в кресло пилота. Руки, вцепившиеся в подлокотники, мелко дрожали — то ли от слабости, то ли от того, что где-то под рёбрами разворачивался холод, не имеющий отношения к температуре в отсеке.

Нужно было действовать. Он знал это той частью себя, которую годами тренировали и за которую его в конце концов отобрали из тысяч кандидатов, — способностью действовать тогда, когда всё внутри требует замереть. Нужно было проверить системы. Нужно было понять, сколько кислорода осталось, сколько энергии, что случилось с двигателем. Нужно было — и эта мысль пришла отдельно, тяжелее остальных, будто он долго её отодвигал, — проверить крио-отсек. Три тысячи человек. Колонисты. Люди, которых он никогда не видел бодрствующими, чьих лиц не знал, но за которых отвечал каждую секунду этих сорока лет.

Он попробовал встать — и не смог, ноги снова подвели, и он остался сидеть, обмякший, глядя в чужое небо за стеклом.

И в этот момент, где-то на границе изнеможения, там, где сознание перестаёт различать «сейчас» и «тогда», память сделала то, чего Илья не просил и не ждал: она унесла его

прочь. Не вперёд, к люку крио-отсека, который предстояло вскрыть. Назад. Туда, где было тепло.

Он не сопротивлялся. У него не осталось сил сопротивляться даже собственной памяти.

А где-то там, на другом конце всей его жизни, было лето. Было солнце. Была река, пахнувшая тиной и нагретой травой, и был голос — тихий, женский, читающий стихи через открытое кухонное окно.

Илья Северов закрыл глаза в кресле мёртвого корабля и позволил себе вспомнить, каково это было — быть десятилетним мальчиком, для которого весь мир умещался в один летний день.

Глава 2

Солнечный свет

Река пахла тиной и нагретой на солнце травой. Отец стоял по щиколотку в прибрежном иле, в подвёрнутых до колен штанах из лёгкой самоочищающейся ткани, на которой не держалось ни капли грязи.

— Не дёргай сразу, — говорил он. — Подожди, пусть клюнет по-настоящему. Ты почувствуешь.

Илье было десять. Удочка в его руках казалась слишком длинной, слишком живой — она подрагивала от малейшего движения воды, и он всё время боялся упустить момент, дёрнуть слишком рано или слишком поздно. Его отец — Дмитрий Северов, крупный, немногословный человек с крепкими от работы руками, инженер-строитель — стоял рядом и смотрел на воду с тем же терпением, с каким смотрел на всё в жизни.

— А ты как чувствуешь? — спросил Илья.

— Практика. — Отец пожал плечами. — Пятьдесят лет практики.

— Тебе не пятьдесят.

— Ну, значит, тридцать лет практики и десять лет вранья про пятьдесят.

Илья засмеялся, и в этот момент поплавок дрогнул, ушёл

под воду, и он рванул удочку так резко, что чуть не упал в реку сам. Леска натянулась, задрожала — и обвисла. Пусто.

— Упустил, — вздохнул он.

— Первую всегда упускают. — Отец не улыбнулся, но что-то в его голосе было похоже на улыбку. — Закидывай снова.

Это было обычное воскресенье. Таких воскресений у Ильи было много — он не мог бы сказать, сколько именно, потому что в десять лет время ещё не делится на до и после, оно просто течёт, ровно и без начала. Мир вокруг был устроен так, что о нём не приходилось задумываться: дом на пригорке сам регулировал температуру и, если попросить, показывал на стене прогноз погоды или новости, которые в те годы редко бывали тревожными; над рекой время от времени бесшумно проходил патрульный дрон-эколог, считывающий уровень воды и не обращающий на людей никакого внимания; редкие машины на дальней дороге ехали сами, без водителей. Отец с мамой ещё помнили время, когда это казалось чудом, а для Ильи это было просто фактом мира, как трава или дождь. Раз в год в поликлинике ему обновляли дозу медицинских нанодронов в крови, и оба родителя явно не хотели вдаваться в подробности, но и тревоги на их лицах не было никакой — только лёгкая скука взрослых, выполняющих привычную процедуру.

Илья не знал слова «Оракул» в том смысле, в каком узнает его через три года. Для него это было нечто вроде погоды — что-то, что было всегда, что заботилось о больших и скучных

вещах где-то там, наверху, и не имело никакого отношения к тому, клюнет рыба или нет. Отец иногда ворчал, что удочку и леску давно можно было бы заменить умным сканером косяков — сунул датчик в воду, и он сам находит рыбу, сам подсказывает момент подсечки, — но принципиально этим не пользовался. «Если рыба ловится сама, — говорил он, — это уже не рыбалка, а получение продукта». Илья тогда не совсем понимал разницу, но чувствовал, что для отца она важна.

Клюнуло снова — на этот раз он подождал, как учил отец, дал натянуться леске, а потом потянул плавно, без рывка. Рыбка вышла из воды, маленькая, серебристая, отчаянно бьющаяся.

— Есть! — закричал Илья так, что с ближайшего дерева сорвалась птица.

— Есть, — согласился отец, и на этот раз улыбнулся по-настоящему, коротко, но по-настоящему. — Отпускать будем или маме покажем?

— Покажем!

Они возвращались домой по тропинке через луг, когда солнце уже клонилось к соснам на другом берегу, окрашивая всё в оранжево-золотой цвет, какой бывает только в конце длинного летнего дня. Дом — с настоящими деревянными полами и террасой, но с крышей из тонких фотоактивных панелей, неотличимых издали от обычной черепицы, — был виден ещё с середины луга. Уже на подходе Илья услы-

шал голос — тихий, ровный, доносящийся через открытое кухонное окно.

Мама читала стихи. Не для кого-то — просто вслух, самой себе, пока готовила, и голос её плыл через двор ровно, негромко, с особой, только ей свойственной интонацией — будто она пробовала слова на вкус, прежде чем отпустить их в воздух. Илья не вслушивался в смысл — он слишком хорошо знал этот голос, чтобы вслушиваться, он просто узнавал его так, как узнают запах дома. Строчки о лете, о прощании, о чём-то большем, чем лето и прощание, текли из окна вместе с запахом ужина, и Илья, идя рядом с отцом, с ведёрком, в котором плескалась единственная рыбка, подумал — не словами, а как-то целиком, всем телом, — что вот это и есть счастье. Не какое-то особенное. Обычное. Из реки, рыбы, отцовской руки на плече и маминого голоса из окна.

— Мам! — крикнул он, вбегая на крыльцо. — Мы поймали!

— Одну, — уточнил отец за его спиной, не без сарказма.

— Одну, но большую! — Илья растопырил руки, показывая размер значительно щедрее, чем позволяла действительность.

Мама — Марина — вышла на крыльцо, вытирая руки о полотенце, посмотрела на ведёрко, посмотрела на мужа поверх головы сына. Тогда Илья ещё не умел читать эти немые переглядки, а сейчас, вспоминая, читал безошибочно: усталая, тёплая, благодарная нежность двух людей, которые про-

жили вместе достаточно, чтобы обмениваться целыми разговорами без единого слова.

— Большая, — согласилась она серьёзно. — Мойте руки, ужин через полчаса.

Вечером, когда посуда была убрана, а дом сам приглушил свет к ночи, Илья вытащил на лужайку перед домом старое одеяло и лёг на спину, глядя в небо. Отец вышел следом — молча, как делал всегда, когда хотел присоединиться, не спрашивая разрешения, — и лёг рядом, заложив руки за голову.

Небо было ясным. Звёзды проступали одна за другой, будто кто-то невидимый зажигал их по очереди, проверяя, все ли на месте. Илья нашёл Большую Медведицу — единственное созвездие, которое умел находить сам, — и для порядка ткнул в него пальцем.

— Вот эту я знаю.

— Ковш, — кивнул отец. — Хорошее начало.

Какое-то время они лежали молча, и в этой тишине не было ничего неловкого — она была такой же частью их отношений, как разговоры. Потом отец сказал, глядя не на сына, а прямо вверх, в темноту:

— Когда-нибудь мы туда полетим.

Илья скосил на него глаза.

— Куда?

— Туда. — Отец качнул подбородком в сторону звёзд, будто это было очевидно. — К звёздам. Люди уже сейчас об

этом думают — как это сделать. Может, не мы. Может, ты. Или твои дети.

Илья подумал об этом ровно столько, сколько десяти-летнему мальчику требуется, чтобы обдумать грандиозную идею — то есть секунды три, — и вынес вердикт с той обезоруживающей прямоотой, на которую способны только дети: — Зачем? Тут хорошо.

Он не сказал это как возражение или как шутку. Он сказал это как факт, такой же очевидный, как то, что вода в реке мокрая. Тут была река. Тут была рыба, которая иногда клевала. Тут был дом, и мама, читающая стихи в открытое окно, и отец, терпеливый и большой, лежащий рядом на одеяле. Зачем лететь куда-то ещё, если здесь уже было всё, что нужно?

Отец не ответил сразу. Илья, который в тот момент смотрел не на него, а на звёзды, не увидел, как что-то прошло по его лицу — не тревога, ещё не тревога, просто тень, короткая, как облако, закрывшее луну на секунду и отпустившее её. Отец ещё ничего не знал о том, что через три года скажет сверхразум, и всё же не был совсем свободен от того беспокойства, которое иногда посещает людей ночью без всякой видимой причины, — беспокойства о будущем, которое всегда молчит перед тем, как измениться.

Он просто молчал. А потом сказал: — Может быть.

И больше они об этом не говорили. Илья запомнил толь-

ко: траву под спиной, чуть влажную от вечерней росы; тепло, ещё сохранившееся в воздухе после жаркого дня; голос мамы, доносящийся из открытого окна, — она что-то напевала себе под нос; руку отца, которая в какой-то момент нашла его руку и просто держала её, без всякой причины, безо всяких слов, пока звёзды над ними разгорались всё ярче в темнеющем небе.

Тогда он ещё не знал, что то самое солнце, которое весь день грело ему спину, пока он рыбачил, и которое сейчас садилось за соснами тем же оранжевым светом, каким садилось всегда, — уже начало меняться где-то глубоко внутри себя, в ядре, до которого не долетал ни один человеческий взгляд. Он не знал, что у этого тепла, у этого щедрого, беззаботного лета есть срок годности. Что через восемь лет то же самое небо, в которое он сейчас так спокойно смотрел, начнёт убивать всё, что он любит.

В тот вечер оно было просто небом. А рука отца была просто рукой.

Воспоминание отпустило его не сразу — будто нехотя, будто само не хотело возвращать его туда, где не было ни травы, ни реки, ни тёплой руки.

Илья открыл глаза. Кресло пилота. Мёртвые индикаторы. Чужие звёзды за стеклом.

Он не сразу вспомнил, куда собирался идти, — а потом вспомнил, и тело среагировало быстрее разума, окатив его новой волной тошноты. Крио-отсек. Три тысячи человек.

Он заставил себя встать. На этот раз ноги послушались — неохотно, но послушались, — и он, держась за стену, побрёл прочь с мостика, туда, где темнота могла оказаться гуще, чем темнота космоса за иллюминатором.

Глава 3

Мёртвые

Дверь крио-отсека открываться не хотела.

Илья налёг на ручной рычаг обеими руками — и тот повернулся с тугим, скрежещущим сопротивлением. Разъём аварийного питания у притолоки был перебит: пучок разорванных проводов торчал наружу, оплавленный на концах, — не результат износа, а след чего-то резкого, случившегося за долю секунды. Здесь что-то ударило — коротко и сильно, за пределами любых конструктивных допусков. Что именно, Илья не знал.

Дверь застряла на середине хода. Он протиснулся боком в оставшуюся щель, ощущая холод обшивки сквозь тонкую ткань комбинезона, — и оказался внутри.

Темнота была абсолютной.

Он включил фонарь, встроенный в манжету комбинезона, — единственный источник света, который у него оставался: аварийное освещение сюда не доходило вовсе, ни одной панели, ни одного дежурного огонька. Луч выхватил из черноты первый ряд капсул, и Илья замер.

Экраны состояния были чёрными.

Не тускло-красными — этот цвет он знал, он означал «ожидание», «резервный режим», «системы приторможены,

но живы». Не зелёными — цвет нормы, цвет, под который он засыпал восемь раз подряд с уверенностью человека, оставляющего важное дело в надёжных руках. Чёрными. Мёртвыми. Ни одного огонька на весь ряд, ни одного — насколько хватало света фонаря — во всём отсеке.

Он пошёл вдоль ряда, медленно, потому что тело всё ещё плохо слушалось, а ещё потому, что какая-то часть его — та, что отвечала за самосохранение, — тянула время, отодвигала неизбежное на несколько лишних секунд перед каждым следующим шагом.

Капсулы стояли ровными рядами, уходящими в темноту дальше, чем доставал свет фонаря. Тысячи. Он знал цифру — три тысячи — так же абстрактно, как знают площадь далёкой страны или население города, в котором никогда не были. Число без лиц. Сейчас, идя вдоль ряда, он начал придавать этому числу лица, и от этого стало хуже.

Стекло первой капсулы, в которую он посветил, было покрыто изнутри тонкой сеткой инея — температура в отсеке держалась около нуля. Холод сохранил тела, но не жизнь: жизнь держалась на крио-режиме капсул, а он оборвался вместе с питанием. За инеем лежал мужчина — немолодой, с седой щетиной на впалых щеках, с закрытыми глазами, с тем спокойствием на лице, которое бывает только у спящих. Не у мёртвых. У спящих людей есть особая безмятежность, отличная от безмятежности трупа, — и именно поэтому Илье потребовалось несколько секунд, чтобы понять: перед ним

не сон.

Он поднёс руку к стеклу — не тронул, просто поднёс — и даже на расстоянии почувствовал, какое оно ледяное.

Он пошёл дальше. Женщина средних лет. Парень, почти подросток, с застывшей на лице тенью какого-то последнего сна — может быть, хорошего сна, Илья на это надеялся с абсурдной, никому не нужной силой. Ребёнок — маленькая девочка, лет шести, почти потерявшаяся в капсуле, рассчитанной на взрослого: фиксирующие ремни были затянуты до последнего деления и всё равно казались слишком широкими для неё.

Илья остановился напротив неё дольше, чем перед остальными.

Она не проснулась. Не узнала, что случилось. Не испугалась темноты, холода, тишины — ничего из того, через что прошёл он сам несколько часов назад в отсеке пробуждения. Для неё всё закончилось так же, как началось: во сне. Возможно, это было милосердием. Илья не знал, хочет ли он, чтобы это было милосердием, или предпочёл бы, чтобы у неё был хотя бы шанс — хотя бы одна секунда — понять, что происходит.

Он заставил себя идти дальше. Ряд за рядом, капсула за капсулой, чёрный экран за чёрным экраном. Где-то посередине пути он перестал светить внутрь каждой — не потому, что зрелище стало привычным — привыкнуть к этому было невозможно, — а потому, что смотреть на лица тех, кого он

не мог спасти, само по себе стало отдельной формой боли, а боли у него и так было в избытке.

Он искал не колонистов. Он искал экипаж.

Отсек экипажа располагался в конце крио-блока, за герметичной перегородкой, на полпути между рядами колонистов и мостиком. Илья добрался туда через боковой коридор, где хотя бы отчасти работало аварийное освещение, и на мгновение позволил себе вспышку глупой, необоснованной надежды: если его собственная капсула продержалась на резервном питании достаточно долго, чтобы разбудить его, — может быть, и капсулы Елены с Виктором продержались тоже.

Он вошёл в отсек экипажа, и надежда умерла так же быстро, как и появилась.

Капсула Елены Котовой стояла первой. Экран — чёрный. Крышка закрыта, герметична, никаких следов внешнего повреждения — сама капсула выглядела совершенно исправной, будто просто дожидалась планового пробуждения. Илья посветил внутрь.

Елена лежала такой же, какой он видел её на каждом плановом пробуждении, — спокойная, собранная даже во сне, с той сдержанной аккуратностью, которая была в ней всегда, даже в самых обыденных вещах. Лицо не изменилось. Оно просто было лицом человека, который не проснулся.

— Елена, — сказал он вслух. Зачем — не знал сам. Может быть, просто чтобы её имя прозвучало здесь хотя бы раз,

прежде чем он уйдёт.

Она не ответила. Разумеется, не ответила.

Капсула Виктора Пажетнова стояла рядом. То же самое. Чёрный экран, герметичная крышка, лицо человека, которого сон не отпустил обратно. Виктор был старше, опытнее — тот, кого Илья в глубине души иногда считал более достойным места командира, хотя вслух это никогда не произносилось и не должно было произноситься, — и сейчас это уже не имело никакого значения. Ни стаж, ни опыт, ни аккуратность Елены не защитили их от того, что произошло с кораблём.

Илья знал устройство корабля достаточно хорошо, чтобы догадаться, почему. Капсула командира располагалась в отдельном, более защищённом отсеке возле самого мостика, с независимой резервной батареей — так закладывали ещё на этапе проектирования, на случай отказа общей системы: если уж кто-то и должен пережить нештатную ситуацию, то тот, кому потом разгребать последствия. Капсулы Елены и Виктора такой отдельной защиты не имели — они были частью общего контура крио-блока, того самого, что отказал. Сколько продержались их резервные батареи после обесточивания — час, шесть, восемь, — Илья не знал. Знал только, что недостаточно. Елена и Виктор были резервом: система разбудила бы их, только если бы что-то случилось с командиром. Случилось — но не с ним.

Он стоял между двумя капсулами и понимал одно: они

мертвы, а он жив, и разница между этими двумя фактами определилась не характером и не тем, что принято называть удачей, а тем, где именно на чертеже корабля «Оракул» когда-то решил разместить лишнюю батарею.

Он сел на пол.

Не решил сесть — просто ноги подкосились, и он оказался сидящим на холодном металлическом полу между двумя капсулами, спиной к переборке, глядя в темноту отсека, где фонарь на запястье выхватывал теперь только пустое пространство перед ним.

Он не плакал по Елене. Не плакал по Виктору. Он не был с ними близок настолько, чтобы горевать о них персонально: они вместе готовились к полёту, вместе провели первые два месяца после старта — до первого прыжка, обменивались рабочими фразами, иногда шутками, — но близости, которая рождает личное, острое горе, между ними так и не возникло. Он плакал не о них.

Он плакал о себе.

Слёзы пришли не сразу и не так, как он ожидал бы, — не всхлипами, не рыданиями, а тихо, почти без звука, просто потекли по лицу, пока он сидел, обхватив колени руками, глядя в темноту. Осознание навалилось не ударом, а медленно затягивающейся петлёй: он один. Единственный человек на восьмисотметровом корабле, где должны были проснуться три тысячи человек. Единственный человек, возможно, во всём известном пространстве — потому что если корабль

оказался там, где звёзды не совпадают ни с одной известной картой, то кто скажет, далеко ли до ближайшего человеческого поселения? Далеко ли до Земли, которая умирала уже тогда, когда «Аврора» покидала её орбиту?

Он подумал о Софии. О том, как она махала рукой за стеклом переговорной кабины. Для него это было почти вчера — несколько коротких пробуждений назад. Для неё, будь она жива, прошла бы целая жизнь: сейчас ей было бы за пятьдесят, взрослая женщина, которую он не узнал бы на улице. Если бы она дожила. Если бы Земля вообще дала хоть кому-то дожить до пятидесяти после того, что должно было с ней случиться. Он подумал об Анне. О её голосе в последнем видеопослании — «Живи. Не для нас — для себя» — и о горькой иронии этих слов здесь, в темноте, среди трёх тысяч мёртвых.

Он плакал долго. Никто не видел этого — некому было видеть, — и в этом была странная, горькая свобода: он мог плакать сколько угодно, не сдерживаясь, не заботясь о том, как это будет выглядеть, потому что не осталось никого, перед кем нужно было бы держаться.

Когда слёзы наконец иссякли — не потому, что горе прошло, а потому, что тело, обезвоженное и истощённое, физически не могло производить их больше, — Илья долго сидел неподвижно, глядя в темноту. Щёлкал остывающий металл где-то в переборках. Дышал он тяжело, но ровно.

Потом он вытер лицо тыльной стороной ладони и заставил

себя подняться.

Здесь нечего было больше делать. Мёртвых нельзя было разбудить, нельзя было утешить, нельзя было даже похоронить — по крайней мере так, чтобы это хоть что-то значило. Оставалось только уйти и попытаться понять, что случилось с кораблём и сколько времени есть у единственного живого человека на его борту.

Он вышел из отсека экипажа тем же путём, каким пришёл, стараясь не смотреть больше в сторону основного криоблока с его бесконечными рядами чёрных экранов. У выхода он на мгновение остановился, оглянулся — просто какая-то часть его требовала этого прощального жеста, каким бы бессмысленным он ни был перед лицом тех, кто уже никогда о нём не узнает.

— Простите, — сказал он в темноту, ни к кому конкретно не обращаясь. — Я не знаю, за что именно. Но простите.

Ответа не было. Он и не ждал ответа.

Дорога к мостику заняла меньше времени, чем путь сюда, — то ли тело немного окрепло, то ли отчаяние выработало собственную энергию, не имевшую отношения к физической силе. У консоли связи с бортовым ИИ Илья остановился, положил ладонь на панель активации и на секунду замер, собираясь с силами перед тем, что предстояло узнать дальше.

— Вектор, — сказал он. Голос вышел сиплым, но твёрдым. — Ты здесь?

В отсеке пробуждения «Вектор» не ответил ни разу, и сейчас Илья почти ждал того же. Тишина тянулась — секунда, другая, третья, — достаточно долго, чтобы он успел смириться. А потом что-то дрогнуло в динамике над консолью: короткий электронный шорох, будто прочищали горло, — и раздался голос. Искажённый, ломкий, с провалами и странными паузами не в тех местах, где им положено быть, — но голос.

— Ко... мандир, — сказал «Вектор». — Рад... слышать вас. Диагностика... частична. Готов... отвечать.

Илья закрыл глаза на мгновение — не от облегчения, потому что облегчения в этом голосе было мало, а оттого, что впервые за это пробуждение он услышал хоть что-то, что не было мёртвой тишиной или щелчком остывающего металла.

— Вектор, — сказал он. — Расскажи мне всё, что можешь. Всё.

Глава 4

Тринадцатый год

Урок литературы прервался без предупреждения.

Учитель — Николай Петрович, невысокий, вечно немного взъерошенный человек, которого тринадцатилетние ученики искренне любили за привычку иногда забывать о программе ради спора о прочитанном, — вдруг замолчал на середине фразы. Он не отвернулся от класса и не сказал ни слова — просто застыл, глядя в пространство перед собой с тем особым, отсутствующим выражением, с которым люди в те годы получали срочные сообщения через вживлённый интерфейс. Илья видел это выражение у взрослых десятки раз и никогда не придавал этому значения — обычно это означало звонок от начальства или напоминание забрать посылку.

На этот раз всё было иначе. Николай Петрович медленно опустился на стул рядом с кафедрой — не сел, а именно опустился, как будто ноги вдруг усомнились, что могут его держать, — и произнёс, не глядя на класс:

— Экран. Включите общий экран.

Кто-то из ребят, сидевший ближе всех к панели, коснулся стены — и стена школьного кабинета, обычно показывающая расписание или карту, очистилась, а затем на ней появилось изображение: простое, почти геометрическое лицо

без определённого возраста и пола, с ровным, спокойным взглядом, который не был человеческим, но и не пытался притворяться человеческим до конца. Илья видел этот образ и раньше — в новостях, в общественных объявлениях, — но никогда прежде под ним не было таких слов: «Экстренное сообщение. Прямая трансляция для всех регионов».

Голос «Оракула» был ровным. Не тёплым и не холодным — просто ровным, как всегда, будто спокойствие было единственной интонацией, доступной этому голосу в принципе.

— Уважаемые жители Земли, — сказал он. — Данная трансляция направлена одновременно во все населённые пункты планеты. Прошу отнестись к информации со всей серьёзностью, которой она заслуживает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.